

18+

КНИГА
БАБЫ ЯГИ
О ТЬМЕ
И ПОРЧЕ



Лео Любавич

Лео Любавич

Книга Бабы Яги о тьме и порче

<https://litres.ru/74151194>

ISBN 9785007010160

Аннотация

Что страшнее: тёмное колдовство или слово, сказанное с завистью? Эта книга — будто шёпот самой Бабы Яги у ночной печи в избушке на курьих ножках: о порче, сглазе, людской злобе и тайнах, что веками прятались в лесу и людской душе и памяти. Мрачная, завораживающая, написанная как древнее сказание-заклятье — её не просто читают, в неё проваливаются.

Содержание

Слово первое, от старой Яги	5
Что есть порча и как она в мир входит	13
О сглазе, шёпоте и тайной злобе	23
О тех, кто зло творит	32
Как от сглаза защититься	39
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Книга Бабы Яги о тьме и порче

Лео Любавич

Материалы, изложенные в данной книге, носят исключительно ознакомительный, культурный и художественный характер. Они не предназначены для самодиагностики, самолечения и не могут рассматриваться как альтернатива медицинской консультации, диагностике, профилактике или терапии. При наличии любых заболеваний, жалоб или подозрений на ухудшение состояния здоровья следует незамедлительно обратиться к врачу.

© Лео Любавич, 2026

ISBN 978-5-0070-1016-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Слово первое, от старой Яги

Слушай же, кто бы ты ни был: молод ли, сед ли, чист ли душою или уже тенью по сердцу тронут, — не ты книгу взял, а книга тебя заметила.

Не всякая вещь в руки даётся по человеческой воле. Иной думает: сам пришёл, сам раскрыл, сам читать станет. Да только есть книги, что не читаются, а глядят. Есть слова, что не в ухо входят, а в кровь. Есть страницы, что не шуршат, а шепчут, будто сухой камыш на болоте, когда месяц в чёрной воде тонет.

Ежели ты эту книгу раскрыл, стало быть, не праздная одна у тебя забота. Не от доброй доли человек к тёмным сказам тянется. Не от весёлой жизни ищет он старой Ягини слово. Коли пришёл, значит, чувствуешь: не всё на свете просто, не всякая беда от ветра, не всякая тоска от сердца, не всякая хворь от времени. Бывает — дом полон, а в доме пусто. Бывает — человек жив, а будто не живёт, а лишь день за днём по ниточке истончается. Бывает — смех на губах, а за плечом уже тень стоит да считает, сколько ещё свечей догорит.

Ты, читатель, может, ищешь имени своему страху. Может, хочешь понять, отчего сны твои стали тяжелей жерновов. Может, не веришь ни в лихо, ни в сглаз, ни в порчу, а всё ж пришёл — из любопытства, из насмешки, из тайной жажды поглядеть в ту щель, куда хорошие люди смотреть не любят.

Что ж. И насмешник порой серьёзнее плакальщика бывает. И неверующий, бывает, глубже верующего вглядывается во тьму.

Но знай: книга сия не для забавы писана. Не для хохота у печи, не для пересуда на торгу, не для того, чтоб щекотать душу сладким ужасом. В ней — не просто сказки старой косяной бабы, что в ступе летает да детей пугает. В ней — людская память, горькая, как полынь; тёмная, как омут под елью; упрямая, как корень, что камень раскалывает.

Кто взял сию книгу, тот, стало быть, стоит на пороге. А вот войдёт ли — сам ещё не знает.

— —

Зла люди страшатся не потому только, что оно боль приносит. Боль — дело привычное. Человек ко многому привыкает: к холоду, к голоду, к потере, к одиночеству, к немоу небу над головой. Но зло страшно иным.

Страшно оно тем, что приходит не всегда с воем и когтями. Не всегда черно, не всегда мерзко, не всегда на рожу ужасно. Порой зло входит тихо, как кошка в тёплую избу. Садится в уголок. Молчит. Никого не трогает. А потом смотришь — молоко скисло, младенец в крик, старик слёг, муж с женой будто чужими стали, хлеб плесенью взялся, а на душе — точно кто золу рассыпал.

Люди боятся зла, ибо зло любит притворяться судьбой.

Вот где его самая лютая сила. Не в буре. Не в крови. Не в страшном крике посреди ночи. А в том, что человек долго не

понимает: беда ли это простая, от жизни всякому положенная, али уже коснулась его чужая воля, чужая злоба, чужой тёмный помысел.

Когда волк рычит — всяк знает: беги или бейся. Когда огонь полыхает — всяк знает: туши или уходи. А когда зло в дом входит без стука, да в человеческом лице, да в слове ласковом, да в подарочке, да во взгляде слишком пристальном — тогда и путается душа. Тогда сердце чувствует, а ум отмахивается. Тогда человек сам себе говорит: «Показалось». А тьма любит это слово больше всех прочих.

Ещё страшатся зла потому, что в нём есть соблазн. Не всякий, кто от зла пострадал, был свят. Не всякий, кто проклят, безгрешен. И не всякий, кто зло сотворил, родился чудовищем. Часто зло начинается с малого: с зависти, что жужжит, как муха у виска; с обиды, что копится, как болотная вода; с желания, чтоб у соседа погасло, раз уж у тебя не светит. Из такой малости и вырастает тьма. Не сразу. Исподволь. Как грибница под землёй: сверху трава зелена, а внизу уже всё опутано белой мертвенной нитью.

Потому и страшится человек зла: узнаёт в нём не только чужого врага, но и свою собственную тень.

И нет, не всякая беда — порча. Не всякая слеза — от чёрного слова. Не всякая смерть — от дурного глаза. Но и не всякое зло можно списать на ветер, сырость и худой нрав. Мир старше людского разума. И в старом мире есть силы, что любят селиться там, где люди сами оставили щель: в

ненависти, в гордыне, в бессилии, в жадности, в неоплаканной утрате, в неотомщённой обиде.

Где сердце треснуло — туда тьма и сочится.

— —

Не думай, будто тайное даётся всякому, кто читать умеет да свечу зажечь может. Нет. Тайное — оно, как дикая птица: к шумному не сядет, к жадному не выйдет, а глупого и вовсе в чашу заведёт, откуда не всякий воротится.

Есть люди, что всю жизнь рядом с чудом живут и ничего не замечают. У них лес — только дрова, река — только вода, ночь — только темнота, а слово — только звук. Для таких и эта книга будет мёртвой: чернильные завитки, старушечьи рассказы, пыль по полкам да пустая жуть для долгого вечера.

А есть иные. Им достаточно один раз в сумерках услышать, как скрипнула пустая калитка, чтобы понять: не ветер. Достаточно один раз взглянуть на порог, где соль рассыпана не так, как сама рассыпается, чтобы внутри всё похолодело. Достаточно один раз проснуться между полночью и петухами, будто кто по имени позвал, — и уже никогда до конца не отмахнуться: дескать, приснилось.

Тайное не открывается силой. Его нельзя выломать, как дверь. Нельзя вытрясти, как монету из чужого кулака. Нельзя выпросить слезами или купить серебром. Оно само выбирает, когда показаться. И часто выбирает не самых учёных, не самых смелых, не самых благочестивых, а самых внима-

тельных.

Тех, кто умеет слушать не только речь, но и паузу между словами.

Тех, кто видит не только след, но и то, почему рядом нет другого следа.

Тех, кто понимает: молчание порой громче колокола.

Но есть и опасность. Иной человек, едва учуяв тайное, тотчас хочет владеть им. Хочет назвать, подчинить, изложить, запереть в слово, как в клетку. И тут-то тайное от него и отворачивается. А иной — того хуже — начинает любоваться своей близостью к тьме, точно новой дорогой шубой. Такой уже пропал наполовину. Ибо всё сокровенное требует не похвалы, а меры.

Запомни: тайное любит тихих.

Но не любит слабых.

Любит терпеливых.

Но не любит праздных.

Любит честных перед самими собой.

Но не щадит тех, кто врёт себе в главном.

Коли в тебе есть только жадность до страшного — закрой книгу.

Коли в тебе есть одно лишь любопытство — читай, но не верь, что понял.

Коли же в тебе есть и страх, и почтение, и тишина — быть может, кое-что тебе откроется.

Не всё.

Но достаточно, чтобы обратно уже не стать прежним.

— —

Человек забывчив. В этом его беда, да в этом же и милость. Не забывай он, как хоронил мать, как кричал ребёнок в жару, как стоял над пустой колыбелью, как предавал, как предавали его, — не сдюжил бы. Сердце человеческое не железо. Оно и так всё в шрамах, будто старая берёза, в которую год за годом ножами врезались.

Потому человек забывает. Забывает лица. Забывает голоса. Забывает клятвы, данные на крови и на слезах. Забывает, где стоял дом, в котором смеялись. Забывает, кто первый пожелал другому зла. Забывает даже собственный страх, если минула буря и снова запело лето.

А лес не забывает.

Лес помнит шаг. Помнит вздох. Помнит, кто под какой сосной стоял и что шептал, уткнувшись лбом в кору. Помнит, где закопано недосказанное. Где пролилась кровь — случайно ли, намеренно ли. Где плакала вдова. Где девушка венки в воду не по любви пустила, а от безысходности. Где мужик в ярости клялся, что сведёт со света брата. Где старуха несла узелок не с хлебом, а с лихой думой.

Корни — те ещё хранители. Они всё берут в себя: дождь, пепел, слёзы, кровь, гниль, молитву, проклятие. Всё уходит в землю, а земля — в лес. И стоит потом дуб столетний, молчит себе, листьями шумит, а в его молчании больше людских историй, чем в десятке исповедей.

Лес не судит по-людски. Ему всё едино: правый, виноватый, добрый, злой. Он не говорит: этого пожалеть, того наказать. Он просто хранит. Но в этом хранении есть страшная правда: ничего до конца не исчезает. Ни сказанное в сердцах слово. Ни злоба, посланная вслед. Ни плач, что не нашёл утешения. Ни просьба о помощи, брошенная в темноту.

Вот отчего возле старых ельников иной раз так тяжело дышится. Вот почему на одних полянах птицы поют, а на других и кузнечик смолкнет. Вот почему бывает тропа как тропа, а ступишь на неё — и точно не один идёшь. Это не всегда нечисть, не всегда морок, не всегда колдовство. Часто это просто память места. А память места бывает тяжелее живого свидетеля.

Человек расскажет — да приврёт.

Промолчит — да забудет.

Заплачет — да утешится.

А лес стоит.

Он видел, как языческие костры становились золой.

Он слышал, как кресты ставили там, где прежде шептали старым богам.

Он знает, где любовь оборачивалась гибелью, а где проклятие — пустым дымом.

Он помнит тех, чьи имена уже стёрлись с могильных камней.

И тех, кому камней не досталось вовсе.

Потому, коли хочешь понять тёмное, смотри не только в

человека, но и вокруг него. В его двор. В порог. В колодец. В старую яблоню. В овраг за гумном. В лесную кромку, где вечер ложится раньше, чем в поле. Ибо человек носит беду в себе, да не он один её хранит.

Лес помнит больше, чем человек, потому что лес не торопится жить.

А всё, что не торопится, знает о мире страшно много.

Что есть порча и как она в мир входит

Не всякая беда снаружи приходит. Иная беда сперва в человеке заводится — не в кости, не в крови, не в сердце даже, а в той тёмной складке души, куда он сам глядеть боится.

Живёт человек, как все живут: хлеб жуёт, воду пьёт, детей качает, на зарю встаёт, к вечеру устаёт. Да только однажды западёт в него думка — крохотная, как репейное семечко, лёгкая, будто пепел с печной заслонки. И, может, сам он сперва её не заметит. Подумает: «Эка что, пустое. На сердце нашло». А думка уже тут как тут — не ушла, не рассеялась, а пристала.

Злая думка не в дверь входит. Не стучится. Не имя своё называет. Она липнет тихо.

Сначала — как досада.

Потом — как обида.

Потом — как жгучее, стыдное удовольствие от чужой неудачи.

Вот сосед оступился — а у тебя внутри будто теплее стало.

Вот у другой бабы корова сдохла — а ты, перекрестившись для виду, втайне подумала: «Не всё ж ей одной благодать».

Вот у брата дело пошло в гору — а тебе уже не спится,

уже каждое его слово как заноза под ноготь.

Так и липнет.

Не к тем чаще липнет, кто злодеем родился, а к тем, кто свою тьму за правду почёл. «Я не завидую, — говорит человек, — я лишь справедливости хочу». «Я не злюсь, — говорит, — я только помнить умею». «Я не желаю худого, — говорит, — я лишь хочу, чтоб каждому по заслугам». А меж тем думка злая уже обжила у него, как мышь за печью: её не видно, а она грызёт.

Есть думки, что с ветром уходят.

А есть такие, что к человеку прирастают.

Прирастают к слову, к взгляду, к руке. И вот уже сам человек не тот: вроде говорит по-прежнему, а после его речи у другого тяжесть на душе; вроде смотрит по-старому, а от того взгляда младенец в плач; вроде молчит, а в молчании его хуже брани.

Потому и сказывали старые: бойся не только явного врага, но и той минуты, когда сам начнёшь кормить в себе тёмное, да ещё ласково оправдывать. Ибо злая думка, коли её не осадить, не отмолить, не устыдить, — со временем перестанет быть просто думкой. Она ищет выход. Она хочет воплотиться. Хочет перейти с души на мир, с помысла на дело, с человека на человека.

И тогда начинается то, что люди потом называют бедой, сглазом, лихом, порчей, чёрным следом.

Но сперва всегда — думка.

Малая.

Тёмная.

Липкая.

Будто паутина, что едва коснулась щеки, а ты уже весь передёрнулся, словно сама ночь к тебе пальцем притронулась.

— —

Слово — не перо на ветру. Слово — вещь живая. Его ска-
зали, а оно не умерло. Оно пошло.

Человек часто думает: «Подумаешь, брякнул в сердцах». Да только сердце — место жаркое. Что в сердцах сказано, то особенно крепко в мир уходит. Не всякая брань страшна, не всякое проклятие сбывается, не всякое злое пожелание найдёт дорогу. Но есть слова, что сказаны были так глубоко, с такой силой боли, зависти или ненависти, что будто сами себе тело находят.

Чёрное слово не всегда громкое. Иное шепчут. Иное сквозь зубы цедят. Иное вовсе не вслух говорят, а так посмотрят вслед, что лучше бы уж плюнули.

Сказано ведь может быть по-разному.

Один крикнет:

— Чтоб тебе пусто было!

И ветер унесёт.

А другой тихо скажет:

— Не на счастье тебе это.

И после того в доме неделями не ладится.

Потому не в одном звуке сила. Сила — в том, что за сло-

вом стоит. В чём оно вымочено. Из какой тьмы поднято. Есть слова пустые, как трухлявый орех: тронь — рассыплется. А есть слова налитые, тяжёлые, словно речной камень. Такие падают в жизнь — и круги по воде ещё долго расходятся.

Особливо страшно слово, сказанное на изломе: в великом горе, в ярости, в ревности, в отчаянии. Когда человек уж не просто говорит, а будто всю душу свою, чёрную и белую разом, в один выдох выбрасывает. В такие минуты он сам себе не хозяин. И то, что вылетит из него, может прилипнуть к миру крепче смолы.

Оттого и береглись в старину слова понапрасну. Не проклинали детей, даже коли те доводили до слёз. Не звали хворь по имени к столу. Не желали пустоты дому, в котором сами хоть раз хлеб ели. Потому что знали: слово любит дорогу. Дай ему ход — не всякий потом воротишь.

А беда, она как спящая сука под крыльцом: лежит тихо, глаз не открывает. Но скажи над ней нужное слово — и она поднимет морду.

Так и чёрное слово будит беду. Не создаёт из пустоты, нет. Оно чаще зовёт то, что и без того рядом бродило. Дразнит слабое место. Нашупывает щель в избе, трещину в душе, недобрый след в роду. И туда, как игла в старую ткань, входит.

Вот почему иной человек после скверного разговора будто сам не свой. Вот почему после злой брани порой в доме стекло лопнет, масло прогоркнет, ребёнок занеможет, а ку-

ры перестанут нестись. Не потому, что мир так уж хрупок. А потому, что словом по нему тоже можно ударить.

И нет страшнее того, кто силу слова знает, да совести не имеет.

Такой и молчанием проклянет.

— —

Огонь жжёт то, до чего дотянется: дерево, солому, кожу, дом. Видно его сразу. Трещит, лижет, дымит, оставляет после себя чёрное и голое. Оттого с огнём проще: увидал — туши. Не можешь тушить — беги. Не успел — плачь над пепелищем.

А зависть не такова.

Она без дыма.

Без пламени.

Без треска.

Зависть — огонь подземный.

С виду у завистливого человека всё может быть складно: и голос ровный, и улыбка к месту, и поздравление правильное, и объятие тёплое. А внутри уже горит. Не светит — именно горит. Не греет — именно жжёт. И хуже всего, что жжёт она не только того, кто завидует, но и того, на кого смотрят этим жадным, голодным сердцем.

Зависть рождается там, где человек чужую долю не просто видит, а считает её украденной у себя.

«Почему ей — красота, а мне — морщины?»

«Почему ему — удача, а мне — тяжкий труд?»

«Почему у них в доме смех, а у меня одна глухая стена?»

«Почему его любят, а меня только терпят?»

И чем дольше человек эти «почему» в себе ворочает, тем жарче в нём делается. Да только наружу тот жар не светом идёт, а копотью. И копоть эта ложится на всё, на что завистник глядит.

Не зря говорят: дурной глаз сушит.

Иногда зависть и слова не требует. Достаточно долгого взгляда, тяжёлого вздоха, кривой похвалы, что липнет к человеку хуже грязи. «Ах, какая у тебя дочка ладная...» — а к вечеру девка слегла. «Ну и дом у вас богатый...» — а через неделю крыша потекла. «Вот уж повезло вам, повезло...» — и пошло всё наперекосяк, будто кто нарочно узел на каждой нитке завязал.

Конечно, не всякая похвала опасна. Не всякий взгляд отравлен. Но зависть чувствуется. От неё воздух меняется. Словно в избе стало душно, хоть окно и открыто. Словно молоко на столе ещё свежее, а уже горчит. Словно человек рядом сидит приветливый, а тебе хочется плечо прикрыть, детей увести, свечу зажечь.

Зависть пуще огня жжёт потому, что огонь чаще насыщается, а зависть — никогда. Сгорел дом — огонь погас. А завистник, увидев чужое несчастье, лишь на миг стихнет, да вскоре новое себе найдёт, чему мучиться и что ненавидеть. Ибо не в чужом добре корень его муки, а в собственной пустоте.

Такой человек ходит, как печь с трещиной: снаружи тёп-
лая, а внутри весь жар в погибель уходит.

И если долго возле такой души жить, можно самому за-
чахнуть, даже не поняв отчего. Будто никто не бил, никто
не проклинал, никто зла прямо не делал — а силы уходят,
радость меркнет, дело ломается, слова между близкими ста-
новятся колючими.

Вот она, зависть.

Без зубов — а грызёт.

Без рук — а душит.

Без ножа — а режет.

— —

Ни одна тьма не ломится в дом, где всё крепко. Она ищет
не стены — щели.

Дом ведь — не только брёвна, печь да крыша. Дом жив
тем, кто в нём дышит, как смотрит друг на друга, как хлеб
делит, как молчит, как прощает, как помнит умерших, как
встречает рождённых. Где лад между людьми, где слово не
ядовито, где порог не осквернён враждой, туда лихо и входит
труднее. Не потому, что боится. А потому, что нечем заце-
питься.

Но стоит дому надтреснуть изнутри — и тьма это чувствует.

Сначала приходит не сама сила, а будто предвестье её.
Неловкость. Тяжесть. Нехорошее повторение. То ложки па-
дают, то свеча коптит, то кошка в пустой угол глядит, то ре-
бёнок просыпается с криком, будто его кто из сна за волосы

выдернул. То муж с женой начнут ссориться из-за ерунды, а после и вспомнить не могут, с чего бранились. То старик у порога встанет, нахмурится и скажет: «Будто не наш дом нынче».

Вот так оно и ползёт.

Не всегда через вещь.

Не всегда через слово.

Не всегда через чужую руку.

Иногда сила заползает на следе горя. Если в доме долго не утихал плач, если утрата стояла в красном углу, как незваная гостья, если люди забыли молиться, забыли говорить по-доброму, забыли жить, — на такую скорбь многое липнет.

Иногда заползает на следе злобы. Где годами копили обиду, где за стол садились с камнем за пазухой, где улыбались, а внутри желали друг другу пустоты, — там сама изба будто темнеет, даже в ясный день.

Иногда входит через чужой взгляд, принесённый с порога; через подарок, что дан не от сердца; через весть, после которой в доме всё переменилось. А иногда и вовсе будто с места поднимается — из подпола, из старой вещи, из забытой клятвы, что когда-то была сказана на этой земле.

Дом всё помнит. Порог помнит каждую ногу. Окно — каждый взгляд. Печь — каждую ссору, сказанную шёпотом ночью. И если в доме накопилось много неочищенного, непрощённого, неоплаканного, то неведомой силе там легко. Она не как вор приходит, а как плесень: была сырость — бу-

дет и она.

Поначалу люди отмахиваются.

— Показалось.

— Совпало.

— Устали.

— Нервы.

— Время тяжёлое.

И верно: иной раз показалось. Иной раз совпало. Мир и без всякой тьмы умеет быть жестоким. Но бывает и так, что дом уже не дышит свободно, а хозяева всё себя уговаривают. И чем дольше уговаривают, тем глубже что-то чужое устраивается по углам.

Тогда в доме заводится особая тишина. Не добрая, вечерняя, когда печь дышит теплом, а дети сопят, а за окном снег. Нет. Иная. Настороженная. Будто кто слушает. Будто сами стены ждут. И каждый входящий сперва не понимает, а потом невольно голос понижает.

Это и есть один из первых знаков: дом перестал быть просто домом. В нём появилось нечто, чему имени ещё не дали, а сердце уже сторонится.

Так неведомая сила и заползает: не бурей, не громом, не чёрным вихрем с кладбища, как любят болтать глупцы, а малым, липким, упрямым проникновением в то место, где люди сами ослабели.

Тьма терпелива.

Она не спешит.

Она знает: где оставили трещину, там со временем рухнет и стена.

О сглазе, шёпоте и тайной злобе

Не всё лихо одной рукой сотворено, и не всякая тьма одного корня. Люди любят одним словом назвать всё, чего боятся да не понимают: и внезапную хворь, и увядание силы, и разлад в семье, и страх без лица, и ночь без сна. Скажут коротко: порча. А между тем у зла, как у леса, много троп, и каждая ведёт по-своему.

Сглаз — не то же, что порча.

Порча тяжелей. В ней есть намерение, есть воля, есть тягучее, упрямое желание пустить в чужую жизнь кривизну, мрак, надлом. Она не всегда громка, но почти всегда глубока. Она словно кол вбитый: если уж вошёл, сам не выпадет. В ней бывает чья-то злая решимость, чья-то долгая обида, чья-то тёмная радость от чужой беды. Порча не просто касается — она цепляется. Не только тревожит — норовит поселиться.

А сглаз иной.

Сглаз чаще легче, быстрее, случайней. Он, будто искра с худого костра: не всякий раз пожар, да обжечь может крепко. Иной человек даже сам не знает, что понёс с собой дурное. Посмотрел слишком жадно, позавидовал слишком горько, удивился чужому счастью не с радостью, а с пустотою внутри — и вот уже после него в доме что-то будто перекошилось.

Сглаз не всегда рождается от злодея. Иногда его несёт сла-

бый человек, у которого душа вся в трещинах. Он и не хочет худого, а всё ж смотрит так, будто чужая радость ему ножом по сердцу. И этого бывает довольно, чтобы тонкое нарушилось: младенец расплакался, красавица за день поблекла, удачное дело вдруг заупрямилось, весёлый человек сник без причины.

Порча — как вязкая болотная топь.

Сглаз — как холодная тень, пробежавшая по лицу.

Порча часто требует времени, чтобы разрастись, расплзтись по углам жизни, пустить корни в дом, в сон, в тело, в отношения. А сглаз нередко бьёт по поверхности, по самому живому, открытому, незащищённому. По той нежной коже счастья, что кажется крепкой, пока на неё недохнули завистью.

Но не думай, будто сглаз пустяк.

Пустяк — это соринка в глазу. А сглаз — это когда кто-то чужой, сам того ведая или не ведая, коснулся твоей доли тяжёлым взглядом, и доля твоя на миг пошатнулась. Иногда пройдёт, как утренняя сырость. А иногда — коли человек сам ослаблен, коли дом непрочен, коли беда уже кружит поблизости, — этот малый толчок распахивает дверь для большего.

Вот почему старые люди различали: одно — насланное нарочно, другое — прилипшее взглядом, третье — выросшее из самого дома, где слишком долго жила тишина не добрая, а мёртвая.

Надобно уметь различать зло не для того, чтобы ему кланяться, а для того, чтобы не путать ветер с бурей, тень с пропастью, случайную занозу с отравленным клинком.

Ибо кто всего боится одинаково, тот и настоящую беду распознать не умеет.

— —

Есть люди, у которых взгляд лёгок. Поглядят — и будто солнышко по лавке прошло. После них дышится свободней, дети к ним тянутся, цветы не вянут, слово у них простое, а на душе от него мягче.

А есть иные.

Глаз у них может быть красивый, ясный, глубокий, хоть песню пой. Но в глубине того глаза — не свет, а голод. Не любовь к миру, а тяжёлое счисление: у кого что есть, кому что дано, кому что можно отнять хотя бы взглядом, хотя бы мысленно, хотя бы одной только беззвучной мукой.

Такой глаз счастье сушит не потому, что в нём некая волшебная сила, как любят плести дуры на завалинке. Нет. Страшен не цвет радужки, не длина ресниц, не знак на веке. Страшно то, что стоит за взглядом.

Недобрый глаз — это взгляд, в котором нет благословения жизни.

Он видит чужую радость — и не согревается.

Видит красоту — и не любит.

Видит достаток — и не радуется, что хоть где-то не пусто.

Он словно всё мерит нехваткой.

Вот молодая мать вынесла дитя на солнце — румяное, сонное, живое, как яблочко в августе. И кто-то смотрит слишком долго. Не умиляется — взвешивает. Не восхищается — тянется душой, как сухая земля к чужой влаге. После такого взгляда ребёнок может раскапризничаться, жаром вспыхнуть, обмякнуть, будто у него полдня кто силы сосал.

Вот девушка идёт — коса тяжёлая, щеки в заре, глаза смеются. Иная старуха проводит её взглядом, а в том взгляде всё: и своё давно ушедшее молодое тело, и горечь, и укол, и немая злость на то, что чужая весна цветёт, когда её собственная уже в прах сошла. И к вечеру девичья лёгкость словно меркнет, будто кто пыль на неё осыпал.

Вот у мужика дело спорится: лошадь сыта, хлеб уродился, дом ладен. И сосед, сам иссохший от досады, обойдёт двор, всё приметит, всё отметит, всё внутрь себя заберёт — не словом, так вздохом. И пойдёт потом у того мужика то одно рушиться, то другое: не смертельно, не разом, а так, будто удача его стала сохнуть с краёв, как лист в ранний заморозок.

Счастье ведь не железо. Оно больше на живое похоже.

Его можно пестовать.

Можно ранить.

Можно измучить вниманием не добрым, а жадным.

И ещё вот что знай: сильнее всего недобрый глаз сушит там, где счастьем слишком хвалятся. Где не благодарят, а выставляют. Где не берегут, а дразнят мир своим благополучием. Не потому, что счастье надо прятать, будто краде-

ное. А потому, что всякая живая радость любит меру и тишину. Кричащая радость легко становится мишенью для пустых сердец.

Так на ярком солнце быстрее выгорает ткань.

Так на открытом ветру скорее вянет цветок.

Так и счастье, выставленное без меры, чаще ловит на себе чужую сухую тень.

— —

Не всякая похвала — благо. И не всякое доброе слово идёт от доброго сердца.

Есть похвала тёплая, как хлеб из печи. Скажет человек: «Хорошо у тебя», — и от этих слов не страшно, а светло. В них нет ни крючка, ни камня за пазухой, ни тайного сравнения. Они не лезут в душу грязными руками, не ощупывают чужое счастье, как товар на торгу. Такая похвала — что чистая вода: освежит и уйдёт.

А есть похвала пустая.

Она вроде ласкова, а внутри — звонкая пустота. Ни любви в ней, ни участия, ни щедрости, а одно только любованье чужим так, словно уже хочется надкусить. Такую похвалу слышишь — и будто ничего дурного не сказано, а всё ж после неё остаётся привкус меди на языке.

«Ох, какой у тебя мальчик крепенький..».

«Ну и коса у девки — прямо загляденье..».

«Вот это дом, вот это добро..».

«Ай да муж у тебя, всем мужьям муж..».

И всё бы ничего, да сказано это не от полноты сердца, а от пустоты. А пустота — вещь прожорливая. Она не умеет просто видеть и радоваться. Ей надо отщипнуть, ослабить, хоть краешек себе забрать, хоть в памяти унести, раз уж в жизни не досталось.

Потому старая людская память и береглась чрезмерных восхищений. Не оттого, что красота греховна, не оттого, что удачу надо хоронить под лавку. А оттого, что всё живое уязвимо перед теми, кто любит не само прекрасное, а собственную боль рядом с ним.

Пустая похвала беду приводит тем, что открывает чужому взгляду то, что должно быть окружено тишиной и благодарностью. Она как распахнутое окно в ненастье: сперва только занавеску тронет, а потом и весь дом выстудит.

Особенно худо, когда хвалят без меры детей, молодость, красоту, удачу новую, ещё не окрепшую. Молодое вообще любит тишину. Выход не любят руками трогать. Птенца не вынимают лишний раз из гнезда. Новую радость не трясут на свету, словно ярмарочную игрушку. А люди часто делают именно так: едва счастье проклюнется — уже суют его под чужие глаза, под слова, под охи, под завистливые вздохи.

А потом дивятся: отчего померкло?

Оттого, что всё непрочное требует не шума, а бережения.

Похвала пустая — как ветер из погребя: на первый вдох вроде не страшно, а после ломит кости. Она не всегда несёт беду сама по себе. Но часто становится той трещинкой, в

которую просачивается чужая тяжесть, чужой голод, чужое неумение принять, что не всё хорошее досталось ему.

И потому мудрый человек радуется тихо, благодарит негромко, а лучшее своё не всякому выставляет на обозрение.

Не из страха.

Из понимания.

— —

Ночь — время особое. Днём мир держится на глазах, на делах, на шуме, на людском присутствии. Днём многое распадается, не выдержав света: и пустая страшилка, и дурная мысль, и лишнее слово, сказанное сгоряча. День всё будто проверяет: подлинное ли, крепкое ли, не стыдно ли ему под небом стоять.

А ночь не такова.

Ночью всё, что человек прятал от себя, поднимает голову. Ночью дом дышит иначе. Половица скрипнет — и кажется, будто это не дерево, а память. Ветер пройдёт по трубе — и будто кто длинно вздохнул. Собака тявкнет вдалеке — и весь мрак между домами станет слышен.

В такую пору и шёпот меняется.

Дневной шёпот — ещё почти слово. Ночной — уже почти тень.

Недаром всё недоброе любит пониженный голос. Не от робости. От близости. Шёпот не летит далеко, как крик, зато в душу входит глубже. Он не ломится — он просачивается.

Особенно если сказано там, где и без того много молчания, страха, недосказанности.

Ночью человек слабее перед самим собой. Он утомлён, границы его тоньше, мысли менее осторожны. Что днём показалось бы чепухой, ночью кажется знаком. Что днём отлетело бы, как сухой лист, ночью липнет к сердцу, будто мокрая паутина. Потому и шёпот в ночи силу набирает: не сам по себе, а через человеческую уязвимость.

Шепни человеку днём дурное — он отмахнётся, делом займётся, солнцем перебьёт.

Шепни то же ночью — и слово ляжет рядом с ним на подушку.

Особенно страшен шёпот неясный. Не прямой, не названный до конца. Не «случится то-то», а «не к добру». Не «ты пропадёшь», а «гляди, как бы чего не вышло». Не «на тебя зло», а «что-то ты сам на себя не похож». Такие полуслова цепче явной брани. Они не дают образа, а потому человек сам достраивает себе страх. А собственный страх всегда изобретательней чужого.

Есть люди, что умеют шептать так, будто в самом голосе у них сырость могильная. Они не кричат, не угрожают, не бранятся. Они только склонятся ближе, скажут будто бы мимоходом, в полумраке, на границе сна и яви, — и после этих слов в доме ещё долго не могут зажечь внутри себя уверенность.

Но сильнее всего ночной шёпот там, где ему верят.

Ибо слово, которому открыли дверь страхом, проходит дальше, чем слово, встреченное разумом и стойкостью. Не всё, что шепчут, имеет власть. Но всё, чего мы начинаем ждать с дрожью, получает в нас место. А место — это уже начало власти.

Вот почему в старину так берегли вечерний час. Старались не ссориться на ночь, не желать дурного у погашенной печи, не судачить о болезнях над спящими детьми, не бросать в темноту слов, которых сами потом испугаются. Не потому только, что ночь свята или страшна, а потому, что в ночи всё сказанное дольше живёт между стенами.

Шёпот — это малая игла.

Ночь — это мягкая ткань.

Что вошло в неё, то не сразу вынешь.

О тех, кто зло творит

Про ведьм в деревне говорят охотно. Спроси любого — всякий знает, у какого двора куры хуже несутся после чужого визита, у какой бабы взгляд колючий, кто с кем поссорился перед падежом скота, кто на Купалу ходил не к костру, а в сторону болот. Деревня любит знать, кто виноват. А коли не знает — додумает.

Так и рождается ведьма.

Не всегда из дела.

Чаще — из страха.

Иногда — из правды.

А порой — из чужой нужды назвать тьму по имени, лишь бы самим не вглядываться в неё глубже.

Есть женщины, про которых говорят: «Иная». И этого уж достаточно, чтоб за спиной её зашептались. Живёт одна, глядит прямо, людям не угождает, слова лишнего не роняет, травы знает, боли понимает, роды принимала, мёртвых обмывала, в лес ходит в ту пору, когда другие у печи сидят, — ну как тут не назвать ведьмой?

А между тем знание само по себе не зло.

Трава не грешна оттого, что горька.

Ночь не лиха оттого, что темна.

И женщина не ведьма оттого лишь, что видит больше других.

Но бывает и иное.

Бывает женщина, в которой давно перегорело что-то человеческое тёплое, да не в пепел, а в чёрный жар. Такая не кричит, не бьётся, не размахивает руками. Она тиха. А тишина её — как вода над омутом: гладка, да глубину не видно. Она знает, куда смотреть, когда у человека радость только-только зацвела. Знает, какое слово обронить, чтоб не ранить до крови, а надломить незаметно. Знает, как ждать. А кто умеет ждать с тёмным сердцем, тот иной раз страшней бешеного.

Деревенская ведьма в людской памяти — не всегда та, что творит зло руками. Часто это та, возле которой люди сами начинают слышать собственные страхи громче. Она как чёрное зеркало: не она, может, и беду наслала, а всё ж рядом с нею всякая беда кажется уже не случайной, а чьим-то умыслом.

Потому и боятся таких женщин не только за возможную силу, но и за то, что они напоминают: мир не весь ясен, не весь приручен, не весь подчинён человеческому разуму.

И всё же слушай старую Ягу: не всякую «ведьму» проклинай. Иная оклеветана, иная одинока, иная просто слишком хорошо видит ложь. А коли уж есть в ком тьма настоящая — она выдаст себя не платком, не бородавкой, не слухом, а тем, что радуется чужому увяданию так же, как добрый радуется чужому спасению.

Вот это и есть верный знак.

Не знание страшно.

Не одиночество.

Не лесная тропа под ногами.

Страшна радость при виде чужой гибели.

— —

Нет тишины тяжелее вдовьей.

Не той тишины, что приходит после слёз, когда сердце уже вымокло до дна и понемногу учится дышать без того, кто ушёл. Нет. Иная есть тишина — долгая, неподвижная, как ноябрьское болото, затянутое ледком. С виду спокойно. А ступишь — утянет.

Вдова в деревне — фигура особая. Она будто наполовину здесь, а наполовину уже там, где поминают, а не зовут к столу. Она знает вес утраты так, как не знают счастливые. Она глядит на мир через прореху в судьбе. И оттого одни вдовы делаются мягче, глубже, тише светом. А другие — темнеют.

Не всякая долгая молчунья зла. Часто молчание — единственная крыша над разбитой душой. Человеку, у которого вырвали половину жизни, иной раз и говорить нечем. Слова все как труха. Что ни скажи — не то. Вот он и молчит. Не от тайны. От горя.

Но бывает молчание иное.

Бывает, женщина так долго носит в себе невыплаканное, невысказанное, непрощённое, что оно у неё внутри слёживается, чернеет, становится не скорбью уже, а силой другого рода — вязкой, угрюмой, холодной. Такая вдова не жалу-

ется. Не просит. Не ищет утешения. Она просто ходит, как зимняя тень. И каждый, кто рядом, чувствует: в ней что-то не улеглось, не отболело, не отпустило мёртвого и не вернулось к живым.

Оттого и шептались в старину о вдовах, что молчат слишком долго. Не потому, будто вдовство само по себе сродни тёмному делу. А потому, что долгая неразделённая скорбь меняет человека до корней. Иной в ней очищается, а иной — становится вместилищем такой глухой силы, что от одного его присутствия в доме зябко.

Особенно если к горю примешалась обида.

Не та малая обида, что на слово неловкое. А великая, косящая: на мужа, что умер не вовремя; на судьбу, что не спросила; на людей, что живут дальше, смеются, рожают, жнут, будто ничего не случилось; на Бога, если верила; на землю, если не верила ни во что. Из такой обиды может вырасти страшное. Не заклинание. Не явный умысел. А холодное желание, чтоб и другим не было слишком светло.

И вот это уже опасно.

Потому что есть женщины, чьё молчание — покой.

А есть такие, чьё молчание — голод.

И если долго нести в себе мёртвого, не отпуская, он начинает жить не в памяти, а в каждом слове, не сказанном вовремя. Тогда дом возле такой вдовы будто покрывается тонким инеем даже летом. Люди рядом чаще ссорятся, дети смолкают, кошки сторонятся, воздух делается насторожённым.

Впрочем, не спеши судить.

Чужое молчание — тёмный колодец. В него легко заглянуть со страхом, да трудно увидеть дно. Иная вдова молчит, потому что разговаривать ей больно. Иная — потому что знает: скажи она всё, что носит, у других тоже сердце треснет.

Так что бойся не вдовы как таковой.

Бойся той минуты, когда горе в человеке перестаёт быть горем и начинает искать себе спутников.

— —

Старость сама по себе уже знание.

Молодой человек живёт вперёд. Старый — ещё и назад. За ним целое кладбище имён, лиц, обещаний, похорон, свадеб, урожаев, предательств, примет, ранних смертей, поздних раскаяний, зим, которых уже никто, кроме него, не помнит. Оттого и кажется иной раз, что старуха у окна не просто сидит, а сторожит саму память места.

Есть старухи светлые. Они знают много, да в знании их — укрытие. К ним приходят с болью, а уходят с узелком трав и словом, от которого дышится ровнее. Они видели всякое, потому не спешат ни пугать, ни клясть, ни чудить. Их знание — как старый платок: вытер слёзы, укрыл ребёнка, завязал хлеб, и всё к делу.

Но есть иные старухи.

Про таких говорят: знает лишнее.

Что значит — лишнее? А то и значит, что знание её давно

оторвалось от милости. Она всё замечает, всё помнит, всё соотносит. Кто с кем говорил на кладбище. Кто на чьё место сел за поминальным столом. Кто вынес сор после заката. Кто чужой подарок под подушку положил. Кто улыбнулся не так. Кто в церкви свечу не тому святому поставил. Кто к реке ходил в недобрый час. И всё это у неё не просто память — а сеть.

Такая старуха будто живёт не в одном времени, а сразу в трёх: в нынешнем, в давнем и в том, что ещё только надвигается. Она мало спрашивает, ибо и без вопроса многое знает. И оттого людям рядом с нею неуютно: кажется, будто она видит не только лицо, но и потайную складку души.

Знание лишнее страшно не тогда, когда оно велико, а когда в нём нет любви.

Без любви знание делается ножом.

Без сострадания — крюком.

Без меры — сетью, в которой душно даже невиновному.

Такая старуха может ничего дурного не сделать. Может даже свечи ставить, молитвы шептать, котов кормить и внуков качать. Но если сердце её давно отвыкло жалеть, то вся её осведомлённость превращается в тягость для мира. Она как ходячий архив чужих слабостей. И иной раз человеку хватает одного её прищура, чтобы вспомнить все свои грехи сразу.

Потому старухи, что знают лишнее, так часто становятся в людской молве почти ведьмами. Им приписывают и то, чего

они не делали, и то, о чём лишь подумали другие. Ведь очень удобно назвать ведьмой ту, при ком ты сам чувствуешь себя хуже, чем хотел казаться.

Но всё же есть здесь правда, от которой не отмахнёшься. Коли знание копится в человеке, а сердце не растёт вместе с ним, — знание темнеет. Становится не мудростью, а властью. Не светом, а надзором.

И тогда старуха уже не лечит словами.

Она ими придавливает.

А слово, сказанное человеком, который много видел и мало прощал, бывает тяжелее молодого проклятия.

Как от сглаза защититься

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.